

Пушкин А. С.

**Повести
покойного
Ивана
Петровича
Белкина**

БЭК

Пушкин А.С.

Повести покойного Ивана Петровича Белкина / Пушкин А.С.—М.:ООО «ДА!Медиа», 2014.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» – цикл из пяти повестей великого русского поэта, драматурга, прозаика, создателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). Цикл включает произведения, написанные в сентябре-октябре 1830 года: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка». Впервые весь цикл, включая «издательское» предисловие, был опубликован в 1831 году в книге «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.».

Иван Петрович Белкин, краткая биография которого изложена в предисловии к книге – это придуманный Пушкиным персонаж. Это молодой помещик, занимавшийся на досуге сочинительством и умерший в 1828 году: помимо цикла повестей Белкин является автором хроники «История села Горюхина». Любопытно, что каждая из пяти повестей цикла написана в стилистике различных направлений, доминирующих в русской литературе того времени: реализм, сентиментализм и готический романтизм.

ISBN 978-5-4472-3731-8

© ООО «ДА!Медиа», 2014

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нём известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый государь мой ** **!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне своё желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышлёный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомяну), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведённый покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублёвой ассигнации от пятидесятирублёвой; крестьяне, коим она всем была кума, её вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принуждён был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный,

порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привёл и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своём стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и предал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений несколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вёл жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почестья может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нём истинно девическая.¹

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зимою все окна её флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ². Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сёл и деревень заимствованы из нашего окологда, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волосы русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.

Село Ненарадово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему

глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

Сноски к главе

1—Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает. (*Примеч. А. С. Пушкина.*)

2—В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора надписано: слышано мною от такой-то особы (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т. (*Примеч. А. С. Пушкина.*)

ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы.
Баратынский

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался ещё мой выстрел).

Вечер на бивуаке¹

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном чёрном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трёх блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нём что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведённый. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнил счёт по

своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щётку и стёр то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгорячённый вином, игрою и смехом товарищей, почёл себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомёту. Игра продолжалась ещё несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли ещё бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он ещё никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был ещё жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень лёгким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу всё было забыто, и Сильвио снова приобрёл прежнее своё влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное своё резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умён и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нём желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживлённую. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа,— сказал им Сильвио,— обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас,— продолжал он, обратившись ко мне,— жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришёл к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро весёлость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить»,— сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоём, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной весёлости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся,— сказал он мне,— перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно,— продолжал он,— что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощёчину, и враг мой ещё жив.

Любопытство моё сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я.— Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался,— отвечал Сильвио,— и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*²); он её надел; она была прострелена на вершок ото лба.

— Вы знаете,— продолжал Сильвио,— что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, весёлость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счёта и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство моё поколебалось. Обольщённый моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в

обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощёчину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шёл пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел: противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплёвывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моём. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти,— сказал я ему,— вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне,— возразил он,— извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно; выстрел ваш остаётся за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь,— сказал Сильвио,— кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал её за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперёд по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошёл и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились ещё раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как ещё

дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащённую наливку, но от неё болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трёх *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырёх верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нём жил только управитель, а графиня посетила своё поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнёсся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением её увидеть, и потому в первое воскресенье по её приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввёл меня в графский кабинет, а сам пошёл обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зелёным сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моём и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждёт выхода министра. Двери отворились, и вошёл мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное моё положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринуждённости, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла моё внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

— Вот хороший выстрел,— сказал я, обращаясь к графу.

— Да,— отвечал он,— выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно,— отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого.— В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности,— а ты, мой друг, попадёшь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь,— отвечал граф,— мы попробуем. В своё время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О,— заметил я,— в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадёте в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

— А каково стрелял он? — спросил меня граф.

— Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеётесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несёт ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!

— Это удивительно! — сказал граф,— а как его звали?

— Сильвио, ваше сиятельство.

— Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места,— вы знали Сильвио?

— Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нём не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

— Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

— Не пощёчина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

— А сказывал он вам имя этого повесы?

— Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство,— продолжал я, догадываясь об истине,— извините... я не знал... уж не вы ли?..

— Я сам,— отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным,— а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

— Ах, милый мой,— сказала графиня,— ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

— Нет,— возразил граф,— я всё расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился.— Первый месяц, the honey-moon³, провёл я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжёлых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой: я поехал вперёд. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошёл в эту комнату и увидел в темноте человека, запялённого и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошёл к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как

волоса стали вдруг на мне дыбом, «Так точно,— продолжал он,— выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею,— сказал он,— что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнём сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили ещё пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив»,— сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

Я выстрелил,— продолжал граф,— и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери открылись, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Её присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая,— сказал я ей,— разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше всё ещё не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио,— правда ли, что вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня,— отвечал ей Сильвио,— однажды дал он мне шутя пощёчину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве,— а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» — «Не буду,— отвечал Сильвио,— я доволен: я видел твоё смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в неё, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами⁴.

Сноски к главе

1—Из повести А. Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке».

2—полицейская шапка (фр.).

3—медовый месяц (англ.).

4—17 июня 1821 г.

МЕТЕЛЬ

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокой.

.....
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...
Жуковский

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своём поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили её за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нём и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без неё? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял её предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка её была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять вёрст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала бельё и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, её подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных

выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтёт она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших её родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно её пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец её останавливал её, с мучительной быстротою тащил её по снегу и бросал в тёмное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил её пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головою болью. Отец и мать заметили её беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали её сердце. Она старалась их успокоить, казаться весёлою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла её сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, её окружавшими. Подали ужинать; сердце её сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они её поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала её успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела тёплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и её девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надёжного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землёю. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал ещё до Жадринской рощи. Прошло ещё около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересечённым глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашёл он дорогу и въехал во мрак деревьев, обнажённых зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слёзы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырёх или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; вёрст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговорённый к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною и пошёл вперёд, то указывая, то отыскивая дорогу, занесённую снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его

Владимир. «Да уж скоро рассветёт»,— отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную, Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково её здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придёт в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька»,— отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела»,— сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька»,— отвечала Маша.

День прошёл благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашёл больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; её горничная никому ни о чём не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж её слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходявшая от её постели, могла понять из них только то, что дочь её была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной её болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конём не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приёмом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остаётся единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородином, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка её не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствий.

Другая печаль её посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя её наследницей всего имения. Но наследство не утешало её; она разделяла искренно горесть бедной

Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала её выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для неё. Соседи, узнав обо всём, дивились её постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки паши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоёванные песни: *Vive Henri-Quatre*¹, тирольские вальсы и арии из Жоконда.² Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.³

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был ещё сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на её холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в её замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностью*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нём обыкновенная задумчивость её оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя её поведение, сказал бы:

*Se amor non e, che dunque?..*⁴

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость

характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало её любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и ещё не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для неё загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуговляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Её военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость и чёрные глаза его с таким огнём останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь её наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошёл в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду,— отвечала старушка,— подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошёл, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашёл Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей своё сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю,— сказал Бурмин,— я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову ещё ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux.⁵) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне ещё остаётся исполнить тяжёлую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала,— прервала с живостию Марья Гавриловна,— я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю,— отвечал он ей тихо,— знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать моё счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат,— продолжал Бурмин,— я женат уже четвёртый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна,— как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года,— сказал Бурмин,— я спешил в Вильну, где находился наш полк.

Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною, казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонёк и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошёл в церковь, слабо освещённую двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в тёмном углу церкви; другая тёрла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошёл ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле неё перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное своё лицо. Я хотел было её поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошёл!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к её ногам...

Сноски к главе

1—Да здравствует Генрих Четвёртый! (*фр.*)

2—«Жоконд, или Искатель приключений» — комическая опера Н. Изоара.

3—Из комедии А. Грибоедова «Горе от ума» (действ. 2, явл. 5, слова Чацкого).

4—Если это не любовь, так что же? (*ит.*) — из 132-го сонета Петрарки (цикл «При жизни Лауры»).

5—Сен-Прё (*фр.*) — герой романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Державин

Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвёртый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продаётся и отдаётся внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к жёлтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своём жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определённые углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амурас опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошёл своё жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещённый читатель ведаёт, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми весёлыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтоб журить своих дочерей, когда заставлял их без дела глазающих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружён в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб её наследники, несмотря на своё обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошёл в комнату и с весёлым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед,— сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доньше слышать не можем,— извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя моё Готлио Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою

серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан. «Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдётся, а мёртвый без гроба не живёт». — «Сущая правда, — заметил Адриан, — однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берёт себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них ещё несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя своё приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели жёлтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частью немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на своё смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского¹. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его жёлтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на её месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около неё *с секирой и в броне сермяжной*². Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот; иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями, всё вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмолённую бутылку, громко произнёс по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шуточный тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!»³ Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почёл себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже

благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплётчик, коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплёте, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую поговорку: долг платежом красен. Гробовщик пришёл домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле,— рассуждал он вслух,— чем ремесло моё нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных». — «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его,— что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мёртвых на новоселье! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову,— продолжал Адриан,— и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе было ещё темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от её приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мёртвое тело. Покойница лежала на столе, жёлтая как воск, но ещё не обезображенная тлением. Около её теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриан подошёл к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всём полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмёт; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил и пошёл домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошёл до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошёл к его воротам, отворил калитку и в неё скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриан.— Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то ещё приблизился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне,— сказал запыхавшись Адриан,— войдите же, сделайте милость». — «Не церемонься, батюшка,— отвечал тот глухо,— ступай себе вперёд; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошёл на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их жёлтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребённых его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были

благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров,— сказал бригадир от имени всей честной компании,— все мы поднялись на твоё приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Ключки светло-зелёного и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нём, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах, «Ты не узнал меня, Прохоров,— сказал скелет.— Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и ещё сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простёр ему костяные объятия — но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушённый их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович,— сказала Аксинья, подавая ему халат.— К тебе заходил сосед портной, и здешний будочник забежал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать её похороны?

— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний ещё у ты не прошёл? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.

— Ой ли!— сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так,— отвечала работница.

— Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.

Сноски к главе

1—Герой повести А. Погорельского «Ласфертовская маковница», двадцать лет служивший на Московском почтамте.

2—Стих из сказки А. Измайлова «Дура Пахомовна».

3—наших клиентов (нем.).

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.
Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, ограждённый своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днём, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принуждён он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздражённого постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдаёт ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во всё это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Ещё несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казённой надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нём-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моём, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не

мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трёх верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю, «Эй, Дуня! — закричал смотритель,— поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота её меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с,— отвечал он с видом довольного самолюбия,— да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окружённый ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасёт свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочёл я приличные немецкие стихи. Всё это доньше сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пёстрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зелёный сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведённое ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу её стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроём начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у неё позволения её поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу её снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменён; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моём, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на

окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог её знает», — отвечал он. «Так видно она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал её? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили её, та платочком, та серёжками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на неё подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житьё? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне своё горе. — Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошёл в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таким сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное своё действие. Гнев проезжего прошёл; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдёрнув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с чёрными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашёл он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьём у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал

Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошёл ещё день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довести её до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошёл сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошёл в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились ещё в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошёл домой ни жив ни мёртв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила её крёстная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил её. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмельён, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снёс своего несчастья; он тут же слёг в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда ещё догадывался он о его злом намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностию, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своём намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вёз его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку¹, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живёт в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришёл он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель

ушёл и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слёзы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнёс только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повёл в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж её понапрасну». — «Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе её? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава свёрток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублёвых смятых ассигнаций. Слёзы опять навернулись на глазах его, слёзы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошёл... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошёл!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть ещё раз увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — дай пошёл.

В этот самый день, вечером, шёл он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трёхэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живёт». — «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у неё». — «Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, а я своё дело сделаю». И с этим словом пошёл он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка, — зачем тебе её надобно?» Смотритель, не отвечая, вошёл в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шёл далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошёл к растворённой двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своём английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая чёрные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковёр. Испуганный Минский кинулся её подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошёл к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы, —

что ты за мною всюду крадёшься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошёл вон!» — и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришёл к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступить. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год,— заключил он,— как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог её ведаёт. Всяко случается. Не её первую, не её последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева². Слёзы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули моё сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно ещё, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моём приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и жёлтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителю могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повёл меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезать. Бывало (царство ему небесное!), идёт из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Всё, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернёт, да тому не до мёртвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка, — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с чёрной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести её. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не ограждённое, усеянное деревянными крестами, не осенёнными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя,— сказал мне мальчик, вспрыгнув на груды песка, в которую врыт был чёрный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.

— Приходила,— отвечал Ванька,— я смотрел на неё издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пяточок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

Сноски к главе

1—район в Петербурге, где были расположены казармы Измайловского полка.

2—речь идёт о стихотворении И. Дмитриева «Карикатура».

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович

В одной из отдалённых наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завёл у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всём околке, в чём и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развёл он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе,

Но на чужой манер хлеб русский не родится,¹

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomanии своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англoman выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест баринoм, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир и если бы он, вместо того чтоб рисоваться на коне, провёл свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотри, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него

никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не жила в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность характера, самобытность (*individualite*), без чего, по мнению Жан-Поля², не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж *pota nostra manet*,³ как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он чёрное кольцо с изображением мёртвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нём с ума.

Но всех более занята была им дочь англomана моего, Лиза (или Бетси, как звал её обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея ещё не видала, между тем как все молодые соседки только об нём и говорили. Ей было семнадцать лет. Чёрные глаза оживляли её смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и, следовательно, балованное дитя. Её резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье её мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу»,⁴ получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и её барышня. Лиза очень любила её, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости,— сказала однажды Настя, одевая барышню.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот! — сказала Лиза,— господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

— А нам какое дело до господ! — возразила Настя,— к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились ещё с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да Расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день её возвращения. Вечером

Настя явилась.

— Ну, Лизавета Григорьевна,— сказала она, входя в комнату,— видела молодого Берестова; нагладелась довольно; целый день были вместе.

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...

— Хорошо, знаю. Ну потом?

— Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле неё... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакое бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что ещё выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же говорят, он влюблён и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него слышно?

— Барин, говорят, прекрасный: такой добрый, такой весёлый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это ещё не беда: со временем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть! — сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудрёного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьём на охоту.

— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить весёлое своё предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговиц, с помощью Насти скроила

себе рубашку и сарафан, засадила за шитьё всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда ещё так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котлов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насте. Одно затрудняло её: она попробовала было пройти по двору босая, но дёрн колот её нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом ещё спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пёстрые лапти и получил от неё полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шёпотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце её сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекагный шум её приветствовал девушку. Весёлость её притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точности определить, о чём думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осенённой с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на неё. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: tout beau, Sbogar, ici...⁵ и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая,— сказал он Лизе,— собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин,— сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой,— боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься,— сказал он ей,— ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза,— вольному воля, а дорога мирская». — «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на верёвочке). «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» — «Так точно,— отвечал Алексей,— я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжёшь,— сказала она,— не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». — «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему». — «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять её; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперёд приятелями,— сказала она с важностию,— то не извольте забываться». — «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись.— Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза

почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она,— разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагладелась. Однако,— продолжала она,— болтая с тобою, грибов не наберёшь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться. Алексей удержал её за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной,— отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой,— да пусти ж, барин; мне и домой пора». — «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу». — «Что ты? — возразила с живостию Лиза,— ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий-кузнец, прийдёт меня до смерти». — «Да я непременно хочу с тобой опять видеться». — «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». — «Когда же?» — «Да хоть завтра». — «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да, да». — «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала её. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набелённая и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил её за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее,— сказал он,— как просыпаться на заре». Тут он привёл несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала её мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть её роптала громче её разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило её; она совсем было решила не сдерживать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав её напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об её легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружьё, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас заметил на её лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок её казался ей легкомысленным, что она в нём раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдерживать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё своё красноречие, дабы отвратить Акулину от её намерения; уверял её в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всём, заклинал её не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил

языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблён. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово,— сказала она наконец,— что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы,— сказала Лиза,— довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий мальчик и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделит со мною моего удовольствия. Эти подробности, вообще, должны казаться приторными, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло ещё и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблён без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть, существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие её было втайне подстрекаемо тёмной, романической надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменяло их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняя хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англоизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он повернул в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал по полю. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мёрзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя

без седока. Иван Петрович подсказал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привёл виновную лошадь, держа её под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением, — отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear»⁶ — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев. — Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла? — возразил отец, — давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмёшь, и пошёл отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о её поведении и правилах, о её благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала её Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить её непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочери, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, — отвечала Лиза, — я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал смеясь Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал её в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряжённая шестью лошадьми, въехала на двор и покатила около густо-зелёного дернового круга. Старый Берестов взошёл на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошёл в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повёл по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчётливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже

занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набелённая, зятая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных её волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава a l'imbecile⁷ торчали как фижмы у Madame de Pompadour;⁸ талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты её матери, ещё не заложенные в ломбарде, сияли на её пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошёл к её ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к её беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным её нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил своё обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из её комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну её лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на неё, не понимая её цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу.— А знаешь ли что? Белила право тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умиловать раздражённую мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать её оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять её на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роце свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ? — сказала она тотчас Алексею,— какова

показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он её не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтоб успокоить её совсем, начал описывать её госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чём сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли в самом деле?» — «Изволь, милая; начнём хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро, Алексей не мог надивиться её понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался её, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идёт скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь»⁹, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ими завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум её приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдёт в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своём соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако же не отрицал в нём и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нём хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алёша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не

прельщает!» — «Нет, батюшка,— отвечал почтительно Алексей,— я вижу, что вам не угодно, чтоб я шёл в гусары; мой долг вам повиноваться». — «Хорошо,— отвечал Иван Петрович,— вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка? — спросил изумлённый Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской,— отвечал Иван Петрович,— невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе ещё не думаю.

— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

— Воля ваша. Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

— После понравится. Стерпится, слюбится.

— Я не чувствую себя способным сделать её счастье.

— Не твоё горе — её счастье. Что? так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!

— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберёт что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздём не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушёл в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в неё страстно влюблён; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нём благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым чётким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им гибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнёс он письмо на почту, в дупло, и лёг спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твёрдый в своём намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объяснить. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет,— отвечал слуга,— Григорий Иванович с утра изволил выехать». — «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошёл без доклада.

«Всё будет решено,— думал он, подходя к гостиной,— объяснюсь с нею самою». Он вошёл... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платице, сидела перед окном и читала его письмо: она так была занята, что не слыхала, как он и вошёл. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился её удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, monsieur; mais etes-vous fou?*»¹⁰ — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя её руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошёл.

— Ага! — сказал Муромский,— да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

Сноски к главе

- 1—Из сатиры Л. Шаховского «Мольер! твой дар, ни с чьим на свете несравненный...».
- 2—Псевдоним немецкого писателя И.-П. Рихтера.
- 3—наше замечание остаётся в силе (*лат.*).
- 4—Роман С. Ричардсона.
- 5—тубо, Сбогар, сюда... (*фр.*)
- 6—моя дорогая (*англ.*).
- 7—по-дурачки (*фр.*) — фасон узких рукавов с пуфами у плеча.
- 8—Мадам де Помпадур (*фр.*).
- 9—Повесть Н. М. Карамзина.
- 10—Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? (*фр.*)